АЛЕКСАНДР ДОБРОЯРОВ

МОСКВА НЕ ВЕРИТ



НЕ УХОДИТЬ ПЕРВЫМ

КНИГА 2

18+

Не уходить первым

Александр Доброяров

Москва не верит

«Автор»
2026

Доброяров А.

Москва не верит / А. Доброяров — «Автор», 2026 — (Не уходить первым)

Москва, начало двухтысячных. У Макса Ветрова — немного денег и визитка женщины, которая даёт ему шанс начать заново. В модельном агентстве «Орбита» его умение понимать людей быстро превращается в профессию: вчерашний парень с ростовского рынка находит будущих звёзд и сам оказывается на рекламных щитах.Вместе с успехом приходят дорогая квартира, большие контракты и Эля — жена влиятельного банкира. Макс узнаёт опасность, но снова верит, что сумеет договориться. Пока он выбирает между лояльностью и желанием, под удар попадает дело человека, который ему доверился.Роман о соблазне успеха, самообмане и долгах, которые невозможно закрыть деньгами. Вторая книга цикла «Не уходить первым».

© Доброяров А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Орбита 5
Глава 1. Звонок до двенадцати 5
Глава 2. Ирма 10
Глава 3. Девочки из Ростова 14
Глава 4. Восьмое купе 19
Глава 5. Свидетель 23
Глава 6. Скаут 28
Глава 7. Утро ужаса № 4 33
Конец ознакомительного фрагмента. 34

Александр Доброяров
Москва не верит

Часть первая. Орбита

Глава 1. Звонок до двенадцати

Первую ночь в Москве я провёл в комнате, где спали одиннадцать таджиков, один молдаванин и я.

Если вы думаете, что это начало грустной истории, вы ошибаетесь. Это была одна из самых спокойных ночей в моей жизни. Таджики храпели слаженно, как хор. Молдаванин бормотал во сне по-румынски что-то ласковое, наверное, жене. Под потолком гудела лампа дневного света, которую никто не умел выключить. А я лежал на верхнем ярусе железной кровати, смотрел в потолок с жёлтыми разводами и думал, что в этом городе меня никто не знает.

Ни Арсен. Ни рынок. Ни женщины. Никто.

Это было странно и хорошо. Как будто ты всю жизнь носил на спине мешок с картошкой, а потом снял и не знаешь, куда девать руки.

Как я туда попал — отдельная история, и она короткая.

С Курского вокзала я вышел в полдень второго марта. Доел тарань тёти Гали на ступеньках у колонны. Пошёл куда глаза глядят. Глаза глядели на Садовое кольцо, по которому неслось столько машин, сколько в Ростове не было во всём городе. Я шёл по кольцу два часа, пока не понял, что иду по кругу. Буквально. Это же кольцо.

Потом я спустился в метро. Купил жетон. Час катался по кольцевой линии, потому что не знал, где выходить, и боялся признаться в этом даже себе. Читал названия станций и не понимал, что они значат. «Краснопресненская». «Новослободская». «Комсомольская» — снова. Опять кольцо. Москва, похоже, вся состояла из колец, и все они возвращали тебя туда, откуда ты начал.

В четыре часа на «Павелецкой» меня остановил милиционер.

— Документы.

Я дал паспорт. Ростовская прописка. Он посмотрел на неё так, как смотрят на просроченный йогурт.

— Регистрация есть?

— Я только сегодня приехал.

— Значит, нет. Штраф пятьсот рублей. Или пройдём.

Я посмотрел на него. Три секунды. Молодой, лет двадцать пять, лопоухий, с прыщом на подбородке. Хочет денег — это понятно. Боится — сержанта, который стоит у турникетов и смотрит на него. Не хватает ему — я пригляделся — нормальных ботинок. Его казённые были разбиты в хлам, подошва отходила.

— Командир, — сказал я тихо. — Пятьсот у меня нет. А вот это есть.

И достал из рюкзака газетный свёрток. Последнюю тарань тёти Гали. Огромную, жирную, золотую, донскую.

Милиционер посмотрел на тарань. Потом на сержанта. Потом снова на тарань.

— Ростовская? — спросил он, понизив голос.

— Из рыбного ряда Центрального рынка, — сказал я. — Тётя Галя солила. Лучшая в городе.

Он взял тарань. Понюхал. Закрыл глаза.

— Я сам с Азова, — сказал он. — Из Кагальника. Три года такой не ел.

Он сунул тарань за пазуху. Отдал мне паспорт. Наклонился и сказал, уже совсем другим голосом:

— На «Текстильщиках» общага есть. Строительная. Там койку на ночь сдают по сто рублей. Спросишь Рустама, скажешь — от Серёги с «Павелецкой». Регистрацию сделай. Тут без неё сожрут.

Так тётя Галя спасла меня второй раз. Уже из Ростова.

Рустам оказался прорабом лет пятидесяти, с седыми усами и золотыми зубами. Он взял с меня сто рублей, выдал простыню и показал на верхнюю койку у окна.

— Окно не открывай, — сказал он. — Дует. Документы держи в трусах. Деньги — в носке. Носки не снимай.

— Здесь воруют?

Рустам посмотрел на меня с жалостью.

— Здесь Москва, — сказал он. — Здесь все воруют. Даже голуби.

Вечером таджики позвали меня ужинать. Плов в огромном казане на электроплитке, лепёшки, зелёный чай из пиал. Сидели на полу, на расстеленных газетах. Говорили на своём, иногда переходили на русский для меня. Старший из них, Фаррух, бывший учитель физики из Худжанда, спросил, зачем я приехал в Москву.

— Не знаю, — сказал я честно.

Фаррух кивнул, как будто это был самый правильный ответ.

— Все так, — сказал он. — Сначала не знают. Потом знают. Потом жалеют. Потом опять не знают.

Я подумал, что в Москве, видимо, полно бывших учителей, как на ростовском рынке. Что вся страна в двухтысячном первом году — это бывшие учителя, торгующие курагой и кладущие плитку.

Перед сном я положил визитку Ирмы под подушку. Чёрную, с серебряными буквами. «Ирма Вольская. Модельное агентство „Орбита“. Тверская, 18». И телефон.

«Завтра. До двенадцати. Потом номер не работает».

Утром я проснулся в шесть, когда таджики уходили на стройку. В семь вышел на улицу. Купил в ларьке кофе «три в одном» в пластиковом стаканчике и пирожок неизвестного происхождения. Сел на скамейку у метро.

И начал думать.

У меня было двести девяносто долларов. На эти деньги в Москве две тысячи первого года можно было прожить месяц. Если не есть мяса, не ездить на такси и спать с таджиками.

Я мог найти работу сам. Грузчиком. Продавцом. На рынке — в Москве же тоже есть рынки. Черкизовский, говорили, размером с Ростов. Я умел торговать. Я умел таскать. Я умел договариваться с милицией.

Или я мог позвонить женщине, которая прочитала меня в тамбуре поезда за три секунды. Которая налила мне армянского коньяку в восьмом купе. О которой я знал только то, что она беглянка, у неё платиновые волосы и прозрачные глаза. И что она умеет читать людей не хуже меня.

Это было самое страшное. Не Москва. Не таджики. Не милиция. А то, что где-то в этом городе есть человек, который видит меня так же, как я вижу других.

Рядом с таким человеком нельзя прятаться. А я всю жизнь только и делал, что прятался.

В одиннадцать сорок я пошёл к телефону-автомату. Купил карточку. Встал у будки.

В одиннадцать пятьдесят я всё ещё стоял.

В одиннадцать пятьдесят шесть я снял трубку.

В одиннадцать пятьдесят восемь набрал номер.

Трубку сняли после первого гудка. Как будто ждали.

— Вольская.

Голос низкий, хриплый, с московским «аканьем». Тот самый.

— Это Макс, — сказал я. — Из поезда.

Пауза. Я слышал, как на том конце щёлкнула зажигалка.

— Одиннадцать пятьдесят восемь, — сказала Ирма. — Ты всегда до последнего?

— Всегда.

— Плохая привычка. Тверская, восемнадцать, третий этаж. Через час. Опоздаешь на минуту — можешь не подниматься.

И повесила трубку.

Я стоял у автомата и смотрел на трубку в руке. Потом посмотрел на часы. Потом спросил у бабушки с сумкой на колёсах, как доехать до Тверской.

Бабушка посмотрела на меня, на рюкзак, на пиджак за пятьсот долларов.

— На метро, сынок, — сказала она. — На «Пушкинскую». А там пешком. Только ты там не ходи с таким лицом. Там с таким лицом обворуют.

— С каким?

— С таким, как будто ты всё понимаешь, — сказала бабушка. — В Москве так нельзя. Тут все делают вид, что ничего не понимают. Так безопаснее.

Тверская, восемнадцать, оказалась старым домом с колоннами, зажатым между казино «Корона» и магазином «Benetton». На первом этаже — кафе с итальянским названием, на втором — какая-то юридическая фирма, на третьем — латунная табличка: «Орбита. Model Management».

Я поднялся пешком. Лифт был, но я не знал, как в Москве принято — ездить или ходить. Решил идти.

Дверь агентства была стеклянной, матовой, с серебряным логотипом — планета с кольцом, как Сатурн. За дверью — приёмная. Белые стены. Чёрные кожаные диваны. На стенах — огромные чёрно-белые фотографии девушек, таких красивых, что на них было больно смотреть. За стойкой — секретарша лет двадцати, с идеальным маникюром и скучающим лицом.

На диванах сидели девушки. Пять или шесть. Все высокие, худые, в джинсах и свитерах, без косметики, с одинаковыми папками на коленях. Они посмотрели на меня, как смотрят на мебель. И снова уткнулись в свои папки.

— Вы к кому? — спросила секретарша, не поднимая глаз от ногтей.

— К Ирме Вольской.

— Кастинг для мужчин в четверг.

— Я не на кастинг.

Она подняла глаза. Посмотрела на мой пиджак. На рюкзак. На лицо.

— А зачем?

— Она сказала — через час. Сейчас без двух минут.

Секретарша смотрела на меня ещё секунду. Потом нажала кнопку на телефоне.

— Ирма Генриховна, тут молодой человек. Говорит, вы…

— Пусть заходит, — сказал голос из динамика. — Он опоздал на тридцать секунд.

Я посмотрел на часы. Ровно час. Минута в минуту.

— Не опоздал, — сказал я секретарше.

— У Ирмы Генриховны часы спешат на минуту, — сказала секретарша. — Специально. Чтобы все опаздывали. Привыкайте.

Кабинет Ирмы был большим, светлым и почти пустым. Стеклянный стол. Два кресла. Окно во всю стену — на Тверскую, на поток машин, на рекламу «Пепси» на доме напротив. На стене — одна фотография. Чёрно-белая, старая. Девушка лет восемнадцати, худая, с длинной косой, в ситцевом платье, стоит на перроне с картонным чемоданом. Лица почти не видно — она смотрит в сторону.

Ирма сидела за столом. В чёрном брючном костюме, с сигаретой. Платиновые волосы, красная помада, прозрачные глаза. Перед ней лежали папки, фотографии, контракты.

Она не встала. Не поздоровалась. Посмотрела на меня. Три секунды.

— Ночевал где? — спросила она.

— В общаге на Текстильщиках. С таджиками.

— Вшей не набрал?

— Не успел.

Она чуть заметно улыбнулась уголком рта. Как Тамара. Я подумал, что женщины, которые умеют улыбаться уголком рта, — самые опасные на свете. Они улыбаются только тогда, когда им действительно смешно, и поэтому каждая их улыбка — как подарок.

— Садись, — сказала Ирма.

Я сел.

— Объясню один раз, — сказала Ирма. — Повторять не буду. «Орбита» — модельное агентство. Двадцать три девочки в основном составе, сорок в базе. Работаем с рекламой, каталогами, показами. Москва, Милан, Париж, Токио. Девочки — из провинции. Все. Москвичек не беру, они ленивые.

Она выпустила дым.

— Мне нужен человек. Водитель — это первое. Я вожу сама, но устала. Второе — уши. Мне нужно знать, что происходит в агентстве, когда меня нет. Кто ворует, кто с кем спит, кто врёт про вес, кто на наркотиках. Третье — глаза. Ты будешь ездить со мной на кастинги. Смотреть на девочек. Говорить мне, что видишь. Не про внешность — внешность я сама вижу. Про другое.

— Про что?

— Про то, что у них внутри, — сказала Ирма. — Красивых девочек в России — миллион. Тех, кто выдержит Милан, — десять. Мне нужно найти десять из миллиона. Ты умеешь видеть, кто выдержит. Я видела в поезде.

Она потушила сигарету.

— Зарплата — триста долларов. Для начала. Регистрацию сделаю. Жильё — сам. Испытательный срок — месяц.

— А правила?

Ирма посмотрела на меня.

— Правило одно, — сказала она. — Не спать с моделями. Ни с одной. Никогда. Нарушишь — вылетишь в тот же день. Без разговоров.

— Почему?

— Потому что модели — это товар, — сказала Ирма спокойно. — Звучит цинично, но это правда. Товар нельзя портить. Девочка, которая влюбилась в водителя, перестаёт работать. Она плачет, толстеет, срывает контракты. Я видела это сто раз. Ты хорошенький. Ты умеешь нравиться. Это опасно. Для них и для меня.

Я хотел сказать, что я не такой. Что я приехал в Москву начинать с нуля. Что у меня в кармане записка от женщины, которая сказала мне не врать.

Но Ирма смотрела на меня прозрачными глазами, и я понял, что любые мои слова она прочитает ещё до того, как я их скажу.

— Понял, — сказал я.

— Не понял, — сказала Ирма. — Но поймёшь. Ключи.

Она бросила мне через стол связку ключей. На брелоке был логотип.

Я посмотрел на логотип. И засмеялся. Громко, неприлично, до слёз. Ирма подняла бровь.

— Что смешного?

— Ничего, — сказал я, вытирая глаза. — Просто у вас «Вольво».

— Тёмно-синяя. Девяносто восьмой год. Шведская. Надёжная.

— Она глохнет? — спросил я.

Ирма посмотрела на меня с удивлением.

— Иногда, — сказала она. — На холостых. В сервисе не могут понять почему.

— Датчик температуры, — сказал я. — Он врёт. Показывает, что мотор холодный, когда он горячий.

Ирма смотрела на меня долго. Потом сказала:

— Ты странный, Ростов.

— Меня зовут Макс.

— Здесь тебя будут звать Ростов, — сказала она. — Пока не заслужишь имя. Иди. Люся покажет, где машина. В три у нас кастинг в «Национале».

Я вышел из кабинета. Девушки на диванах подняли на меня глаза — уже не как на мебель. Секретарша Люся смотрела на меня с новым интересом.

— Ну? — спросила она.

— Водитель, — сказал я и показал ключи.

— А, — сказала Люся и потеряла интерес. — Машина во дворе, справа от мусорки. Только осторожно — она глохнет.

Я спустился во двор. Справа от мусорки стояла тёмно-синяя «Вольво». Почти такая же, как у Арсена. Только номер другой, московский.

Я подошёл. Положил руку на холодный капот. И мне показалось, что машина узнала меня. Глупо, конечно. Машины не узнают людей.

Но я стоял во дворе на Тверской, держал руку на капоте тёмно-синей «Вольво» и думал, что жизнь — это тоже кольцо. Как Садовое. Как кольцевая линия метро. Ты едешь, едешь, думаешь, что уехал далеко. А потом поднимаешь голову и видишь ту же станцию.

Только ты уже другой.

Или нет.

Этого я тогда ещё не знал.

Глава 2. Ирма

Кастинг в «Национале» проходил в банкетном зале на втором этаже, где когда-то, по словам Ирмы, обедал Ленин, а теперь обедали люди, которые зарабатывали больше, чем всё Политбюро вместе взятое.

Заказчиком был немецкий автоконцерн. Им нужны были три девушки для рекламы нового седана: «славянская красота, но европейская сдержанность», как было написано в брифе. Бриф Ирма прочитала вслух в машине, пока я пытался не врезаться в троллейбус на Манежной, и в конце сказала одно слово, которое я не буду повторять.

— Славянская красота, но европейская сдержанность, — повторила она. — Значит — блондинка, которая не улыбается. Они все хотят блондинку, которая не улыбается. Им кажется, что это Европа.

На кастинг пришло сорок девушек. Не только из «Орбиты» — из шести агентств Москвы. Они сидели вдоль стен банкетного зала на позолоченных стульях, как на балу у Золушки, только без принца. Все высокие, все худые, все красивые. И все одинаковые — в своём старании не быть одинаковыми.

Немцы сидели за столом: трое мужчин в серых костюмах и женщина в очках. Ирма села рядом с ними. Меня посадила у двери. Сказала:

— Смотри на каждую. Когда выходит — и когда уходит. Особенно когда уходит. Потом скажешь.

Девушки выходили по одной. Становились в центр зала. Поворачивались. Шли до окна и обратно. Улыбались, когда просили улыбнуться. Не улыбались, когда просили не улыбаться. Немцы что-то писали. Ирма молчала.

А я смотрел.

Сначала я смотрел, как смотрел бы на рынке. Кто чего хочет, кто чего боится. Это было легко: все хотели контракт, все боялись, что не возьмут. Скучно.

Потом я начал смотреть по-другому. Не что они хотят. А что они делают, когда думают, что никто не видит.

Вот выходит рыжая, из «Ред Старс». Прекрасная. Идеальная. Двадцать лет. Прошла до окна, развернулась, вернулась. А когда пошла к двери — на секунду, когда немцы уже опустили головы к бумагам, — оглянулась на соперниц. Быстро. Зло. Как кошка на других кошек.

Вот выходит маленькая брюнетка, из нашей «Орбиты», Лера, из Саратова. Прошла плохо, споткнулась на повороте. Покраснела. А когда уходила — выпрямилась. Сама себе, никому. Как Балерина из носочного ряда. Спину держала.

Вот выходит блондинка, высокая, холодная — та самая, «славянская красота, европейская сдержанность», живой бриф. Немцы оживились. А я смотрел на её руки. Пальцы всё время что-то теребили — ремешок сумки, край юбки, браслет. И ногти. Обкусанные под лаком.

Я смотрел на них два часа. Сорок девушек. Сорок историй. Каждая — за три секунды. И когда последняя вышла и дверь закрылась, у меня кружилась голова, как после бутылки «Анапы».

В машине Ирма закурила и сказала:

— Ну?

— Рыжая, — сказал я. — Из «Ред Старс». Она не выдержит. Не в смысле работы — работу выдержит. Она других сожрёт. В Милане на третий день подерётся с кем-нибудь в гримёрке. Будет скандал.

Ирма выпустила дым. Ничего не сказала.

— Блондинка, которая им понравилась. Она на чём-то. Не знаю на чём. Руки трясутся. Ногти грызёт. Глаза — как у Самов… как у одного человека, которого я знал. Который два месяца сидел в подвале. Она сорвётся. Не на съёмке — после. Через месяц.

Ирма посмотрела на меня.

— А кого бы взял ты?

— Леру. Из Саратова. Она споткнулась. Но когда уходила — выпрямилась. Для себя. Она будет работать, когда никто не смотрит. Это главное.

Ирма молчала долго. Мы стояли в пробке на Тверской. Сзади сигналили. Впереди мигал светофор.

— Рыжую взяли «Пума» в прошлом году в Милан, — сказала Ирма. — На третий день она порезала платье другой модели ножницами. Скандал на всю неделю моды. Её больше никуда не берут. Мне рассказывали, а я не верила.

Она потушила сигарету.

— Блондинка — Катя Соломина. Агентство «Пойнт». Её мать мне на прошлой неделе звонила. Плакала. Говорит, дочь на таблетках для похудения. Американских. На которых сердце останавливается. Я думала — мать паникует.

Она повернулась ко мне.

— А Лера — моя. Я её взяла полгода назад. Никто, кроме меня, в неё не верил. Даже она сама.

Светофор переключился. Мы поехали.

— Немцы выбрали рыжую и Катю, — сказала Ирма. — И одну из «Модус». Лера не прошла.

— Жалко.

— Не жалко, — сказала Ирма. — Я им сейчас позвоню. И объясню. Про ножницы. Про таблетки. Они немцы. Они не любят скандалы. Через час Лера будет в контракте.

Она достала мобильный. Огромный, серебряный, «Нокиа».

— Ростов, — сказала она, набирая номер. — Ты мне сейчас заработал три тысячи долларов комиссионных. За два часа. Не зазнавайся.

Первую неделю я узнавал «Орбиту».

Это было похоже на рынок. Только вместо помидоров — девушки. Вместо Ашота — бухгалтер Римма Львовна, шестидесятилетняя, в очках на цепочке, с калькулятором «Электроника» и глазами, которые видели три денежные реформы и одну деноминацию. Вместо тёти Гали — фотограф Гера, бывший фотокорреспондент «Огонька», который снимал Брежнева, Горбачёва и Ельцина, а теперь снимал девушек для портфолио и пил коньяк из кофейной чашки, чтобы Ирма не заметила. Ирма замечала. И молчала. Потому что Гера был гением.

Вместо Самовара был Стас.

Стас был букером. Это человек, который ведёт расписание девушек: кому куда, когда, за сколько. Тридцать лет, кашемировое пальто, часы «Ролекс», мобильный в чехле из крокодиловой кожи. Улыбка, от которой у меня с первого дня чесалась спина.

На третий день я заметил, что Стас звонит заказчикам не из офиса, а из коридора. На пятый — что девушки, которые возвращаются с его «спецзаказов», не смотрят в глаза. На седьмой я задержался вечером в агентстве — Ирма уехала, Люся ушла, Римма Львовна заперла сейф — и сел за компьютер Стаса.

Я плохо знал компьютеры. На ростовском рынке их не было. Но Стас не ставил пароль. Он был уверен, что в агентстве никто, кроме него, не умеет включать компьютер.

Через два часа я знал всё.

Схема была простая, как у Гоши с «Шанелью». Только подлая.

Стас брал заказы мимо агентства. Клиент звонил в «Орбиту», хотел девушку для съёмки. Стас говорил клиенту: «Через агентство — тысяча долларов. Через меня — шестьсот». Клиент платил Стасу наличными. Стас платил девушке двести. Четыреста — себе. Ирма не знала ничего.

Это было ещё полбеды.

Полная беда была в папке «Спец». Там был список клиентов. С пометками. «Любит блондинок». «Только до 19». «Ужин + продолжение». И цены. Совсем другие цены.

Стас продавал не съёмки. Стас продавал девушек.

Я сидел перед мерцающим монитором в пустом агентстве и чувствовал, как у меня холодеют руки. Я видел на рынке много грязи. Но это было другое. Это были девочки из Саратова, из Шахт, из Тамбова. Которые приехали в Москву с картонными чемоданами. Как Тамара к Фире в восьмидесятом. Как Ирма на старой фотографии.

Я распечатал всё. Двадцать три листа. И положил их Ирме на стол.

Ирма пришла в восемь утра. Прочитала. Медленно, лист за листом, не меняясь в лице. Потом сняла трубку и сказала Люсе:

— Стаса ко мне. Как только придёт.

Стас пришёл в десять. В кашемировом пальто. С улыбкой. Зашёл в кабинет. Дверь закрылась.

Я сидел в приёмной на кожаном диване. Рядом сидели девушки с папками. Люся красила ногти. Римма Львовна щёлкала калькулятором.

Из кабинета не доносилось ни звука. Ни крика. Ни ругани. Двадцать минут тишины.

Потом дверь открылась. Вышел Стас. Без улыбки. Лицо серое. Он прошёл через приёмную к выходу, не глядя ни на кого. У двери остановился. Обернулся. Посмотрел на меня.

Он понял. Он всё понял.

— Ростов, — сказал он тихо. — Ты не знаешь, с кем связался.

— Знаю, — сказал я. — На рынке таких называли «крысами». Их не били. С ними просто переставали разговаривать. Навсегда. Это хуже.

Стас смотрел на меня ещё секунду. Потом вышел. Стеклянная дверь с Сатурном закрылась за ним.

Ирма стояла в дверях кабинета. Слышала всё.

— Люся, — сказала она. — Девочек из папки — ко мне. По одной. Сегодня. Римма Львовна — посчитайте, сколько он увёл за год. Гера — если ещё раз увижу коньяк в кофейной чашке, налью вам сама, но в стакан. Ростов…

Она посмотрела на меня.

— Зайди.

В кабинете она стояла у окна. Смотрела на Тверскую. Курила.

— Девять лет, — сказала она, не оборачиваясь. — Девять лет я строила это агентство. С нуля. С одной комнаты на Масловке и двух девочек из Пензы. И девять лет я думала, что вижу всё. Что у меня глаз-алмаз. Что меня никто не обманет.

Она повернулась.

— А пришёл пацан из Ростова, с рынка. И за неделю нашёл крысу, которая жила у меня под столом три года.

— Вы были заняты, — сказал я. — Вы смотрели на девушек. А я смотрел на всех.

— Не надо меня утешать, — сказала Ирма. — Я не нуждаюсь в утешении. Я нуждаюсь в правде. Ты сделал за неделю то, чего я не смогла за три года. Значит, мне нужно было, чтобы кто-то это сделал. Значит, я одна не справляюсь. Это неприятно знать. Но лучше знать.

Она потушила сигарету. Подошла к столу. Достала из ящика конверт.

— Это не зарплата, — сказала она. — Зарплата в конце месяца. Это за Стаса.

В конверте было пятьсот долларов.

— И ещё одно, — сказала Ирма.

— Что?

— Испытательный срок окончен. Можешь больше не быть Ростовом.

Она протянула мне руку. Через стеклянный стол. Сухую, прохладную, с длинными пальцами и коротко остриженными ногтями без лака.

— Макс, — сказала она.

Я пожал её руку.

— Ирма Генриховна.

— Ирма, — сказала она. — Просто Ирма. Генриховну оставь для Люси.

Вечером я вёз её домой. Она жила на Патриарших, в старом доме с эркерами. Всю дорогу молчала. Смотрела в окно на огни Садового.

У подъезда я остановился. Она не выходила. Сидела, курила, смотрела на тёмные окна своей квартиры на четвёртом этаже.

— Знаешь, кто на фотографии? — спросила она вдруг. — У меня в кабинете. Девочка на перроне с чемоданом.

— Вы.

— Я, — сказала Ирма. — Август восемьдесят первого. Ростов-Главный. Второй путь.

Я медленно повернулся к ней.

Второй путь. Ростов-Главный. Тот самый перрон, где через двадцать лет стояла Тамара с двумя билетами.

— Кто вас фотографировал? — спросил я.

Ирма открыла дверь машины. Поставила ногу на тротуар. Обернулась.

— Человек, от которого я бежала, — сказала она. — Он тогда ещё не знал, что я бегу. Думал, провожает. Сфотографировал на память. Потом прислал фотографию по почте. С надписью на обороте.

— Какой?

Она посмотрела на меня прозрачными глазами.

— «Всё равно вернёшься», — сказала Ирма. — Я не вернулась. Двадцать лет. Ни разу.

Она вышла и захлопнула дверь. Пошла к подъезду, прямая, в длинном чёрном пальто. Не оглядываясь.

Я сидел в тёмно-синей «Вольво» у дома на Патриарших и думал, что этот город полон людей, которые бегут. И что, может быть, Москва и есть то место, куда приезжают все, кто не умеет оставаться.

И что здесь нас много.

Глава 3. Девочки из Ростова

Три девушки, которых Ирма везла в том поезде, жили в квартире агентства на Соколе. Двухкомнатной, на седьмом этаже панельной девятиэтажки, где «Орбита» селила новеньких первые полгода, пока те не начнут зарабатывать сами. Восемь девочек на две комнаты, двухъярусные кровати, расписание душа на двери, весы в коридоре, на которых каждое утро взвешивались все по очереди, и тетрадь, куда записывали вес. Тетрадь проверяла Ирма. Лично. Раз в неделю.

Я возил их на кастинги. Каждое утро в восемь подъезжал к девятиэтажке на «Вольво», и они спускались — сонные, ненакрашенные, в джинсах, с папками-портфолио под мышкой, — и садились на заднее сиденье, и пахло от них шампунем, растворимым кофе и страхом.

Три ростовские были особенными. Не потому что красивее остальных. Потому что свои.

Света из Батайска была тихой. Восемнадцать лет, огромные голубые глаза, тонкие руки. Мать — медсестра, отец — пропал. Света всё время молчала и смотрела в окно. Когда я спрашивал, о чём она думает, она отвечала: «О маме». Она отправляла маме каждый заработанный рубль, а сама ела гречку без масла, потому что гречка дешёвая и от неё не толстеют.

Оля из Новочеркасска была серьёзной. Девятнадцать лет, второй курс педагогического, взяла академ, чтобы попробовать. Очки, которые снимала перед кастингом и надевала сразу после. Учебник по педагогике в сумке. Она собиралась поработать год, накопить на квартиру и вернуться доучиваться. Я ей верил. Из всех девушек, которых я видел в «Орбите», она единственная точно знала, зачем приехала.

А Яна была из Шахт.

Яне было девятнадцать, и она была стихийным бедствием в форме девушки.

Высокая, длинноногая, с копной рыжих кудрей, которые не брала ни одна расчёска, с веснушками, которые Ирма запрещала замазывать, потому что «это продаётся», и со смехом, от которого звенели стёкла в «Вольво». Отец — шахтёр, сорок лет под землёй. Мать — повариха в шахтёрской столовой. Четыре младших брата. Яна выросла в доме, где все орали, все смеялись, все дрались и все друг друга любили, и она принесла этот дом с собой в Москву.

Она садилась на переднее сиденье, хотя Ирма запрещала, и включала радио. Пела вместе с Земфирой, перевирая слова. Комментировала всех водителей на дороге. Рассказывала анекдоты про шахтёров, от которых краснела даже Оля.

И смотрела на меня.

Я видел это с первого дня. Три секунды — и всё было ясно. Яна хотела не Москвы. Не контрактов. Не обложек. Она хотела, чтобы кто-то её поймал. Как ловят мячик, который слишком сильно подбросили. Она летела, летела, крутилась в воздухе, смеялась — и боялась, что упадёт, а никто не подставит руки.

И она решила, что руки подставлю я.

— Макс, — говорила она, когда мы стояли в пробке на Ленинградке. — А у тебя девушка есть?

— Нет.

— А была?

— Были.

— Много?

— Яна, смотри в окно.

— Я смотрю. Там «Макдоналдс». Я хочу в «Макдоналдс».

— Тебе нельзя.

— Мне всё нельзя, — вздыхала Яна. — Есть нельзя. Спать нельзя. Смеяться громко нельзя. Тебя нельзя.

— Меня особенно нельзя.

— Почему?

— Правило Ирмы.

Яна поворачивалась ко мне. Рыжие кудри падали на лицо.

— А правила для того, чтобы их нарушать, — говорила она. — Так папа говорил. Он в шахте нарушал технику безопасности каждый день. И ничего. Сорок лет.

— А потом?

— А потом его завалило, — сказала Яна спокойно. — В девяносто восьмом. Три дня откапывали. Ноги не работают теперь. Сидит дома, в окно смотрит. Пенсию по инвалидности получает.

Она снова отвернулась к окну.

— Вот поэтому я здесь, — сказала она тихо. — Чтобы братьям на школу. И папе на коляску. Немецкую. Хорошую. Чтоб он хоть во двор мог.

Я посмотрел на неё. Рыжая. Смешная. Громкая. С отцом в инвалидном кресле и четырьмя братьями на шее. В девятнадцать лет.

Правило Ирмы было очень правильным.

Но в тот момент я его ненавидел.

В апреле я снял комнату.

Первую в своей жизни, которую снял сам, на свои деньги. В Марьиной Роще, на третьем этаже старой пятиэтажки, у бабушки Клавдии Ивановны. Восемьдесят один год. Радистка в войну, дошла до Праги. Медаль «За отвагу» висела в серванте рядом с фарфоровыми слониками. Муж умер, детей не было. Жила одна, с котом Маршалом — огромным, серым, одноглазым, который потерял глаз в драке с соседским котом и с тех пор держал в страхе весь подъезд.

Клавдия Ивановна сдавала комнату за сто пятьдесят долларов. С условиями. Не курить в квартире. Не водить женщин. Не пить. По вечерам слушать с ней «Маяк» на кухне.

Первые три условия я нарушал. Четвёртое — никогда.

По вечерам мы сидели на кухне. Клавдия Ивановна вязала носки — бесконечные, серые, шерстяные, которые раздавала всем соседям. Маршал лежал на подоконнике и смотрел единственным глазом на улицу. По «Маяку» передавали новости, песни, прогноз погоды. Клавдия Ивановна комментировала всё.

— Путин, — говорила она про новости. — Молодой. Глаза холодные. Как у нашего особиста в сорок четвёртом.

— Земфира, — говорила она про песни. — Хорошая девочка. Злая. Это хорошо. Добрые в искусстве не выживают.

— Дождь, — говорила она про погоду. — Опять. А у меня колено.

Я слушал её и думал, что Москва — это тоже рынок. Только здесь свои Ашоты, свои тёти Гали, свои Балерины. Надо только уметь их найти.

Про войну Клавдия Ивановна рассказывала редко. Только когда по «Маяку» передавали что-нибудь военное — песню, сводку, передачу к годовщине. Тогда она откладывала спицы, снимала очки и долго смотрела в окно, на тёмный двор Марьиной Рощи. А потом начинала говорить. Медленно, как будто вытаскивала слова из очень глубокого колодца.

— Мне было восемнадцать, — сказала она однажды, в конце апреля, когда по радио пели «Тёмную ночь». — Я на телеграфе работала, в Калинине. Девчонка. Косы до пояса. Пришла в военкомат, сказала — хочу на фронт. Мне говорят — иди домой, у тебя косы. Я пошла в

парикмахерскую, отрезала косы, вернулась. Положила их на стол военкому. Он посмотрел и записал меня в связь.

Она погладила Маршала по голове. Кот, который не позволял никому себя трогать, закрыл единственный глаз.

— Радистка, — сказала Клавдия Ивановна. — Это не то, что в кино. В кино радистка сидит в блиндаже с наушниками и красиво говорит «Берёза, Берёза, я Сосна». А на самом деле ты сидишь в окопе, в грязи, с рацией на коленях, двенадцать килограммов, и немцы глушат эфир так, что в ушах только вой. Как будто тысяча кошек орёт. И сквозь этот вой ты должна услышать своих. Одну точку. Одно тире. Потерял — значит, батальон без связи. Значит, артиллерия бьёт по своим.

Она помолчала.

— Я ни разу не потеряла, — сказала она. — За три года. Ни разу. Знаешь почему?

— Почему?

— Потому что я не слушала вой, — сказала Клавдия Ивановна. — Все слушают вой. Он громкий. Он страшный. Он забивает всё. А я научилась его не слышать. Слушать только то, что под ним. Тихое. Своё.

Она посмотрела на меня поверх очков.

— У тебя, Максим, в голове вой, — сказала она. — Я по глазам вижу. Шумит что-то всё время. Ростов твой, женщины, деньги, этот город. А под воем — тихое. Своё. Ты его не слышишь. Ты вой слушаешь.

Я не знал, что ответить.

Про Маршала она рассказала в другой вечер.

Кот появился у неё в девяносто шестом. Котёнком, на помойке за домом. Его бросили в мусорный бак в коробке из-под обуви, вместе с тремя братьями. Братья умерли. Он — нет. Клавдия Ивановна услышала писк, когда выносила мусор. Достала. Выходила пипеткой.

— Назвала Маршалом, — сказала она, — потому что он с первого дня командовал. Требовал есть, требовал спать на подушке, требовал, чтобы я с ним разговаривала. Как Жуков. Тот тоже требовал.

Глаз Маршал потерял в девяносто девятом. В драке с соседским котом, огромным рыжим бандитом по кличке Бандит, который держал в страхе весь двор. Бандит напал на кошку из второго подъезда, у которой были котята. Маршал вступился. Драка была такая, что вышли все соседи. Маршал победил. Бандит ушёл со двора и больше не возвращался. А Маршал вернулся домой с разодранной мордой и без левого глаза.

— Ветеринар сказал — усыпить, — сказала Клавдия Ивановна. — Я сказала — только попробуй. Выходила опять. Теперь он у меня инвалид войны. Как я.

Она засмеялась. Тихо, по-стариковски.

— Он за чужих котят глаз отдал, — сказала она. — Не за своих. За чужих. Вот это мужчина. А люди за своих детей не всегда могут.

Тогда, в апреле две тысячи первого, я не понял, зачем она это сказала. Я подумал — просто старушечья мудрость.

Я понял через три года. Когда этот самый кот сидел у меня на коленях в поезде на Адлер.

Яна пришла ко мне в мае.

Поздно вечером, в одиннадцать, когда Клавдия Ивановна уже спала, а мы с Маршалом сидели на кухне в темноте. Звонок в дверь. Я открыл.

На пороге стояла Яна. В лёгком платье, хотя на улице было прохладно. С растрёпанными кудрями. С бутылкой «Мартини» в руке. Глаза блестели.

— Привет, — сказала она. — Я сбежала. Девочки спят. Ирма в Милане. Можно?

Я стоял в дверях. Три секунды.

Она была пьяная. Немного — для храбрости. Она дрожала — не от холода. Она смотрела на меня так, как смотрят люди, которые прыгают с тарзанки: зажмурившись, отчаянно, без всякой надежды на то, что верёвка выдержит.

Я мог её впустить. Это было бы легко. Так легко, как всё всегда было легко. Ирма в Милане. Никто не узнает. Яна хотела этого больше всего на свете. И я — я тоже хотел. Не буду врать.

Но я смотрел на неё и видел не девушку в лёгком платье. Я видел мячик, который слишком сильно подбросили. Который летит, крутится и боится упасть.

Если я его поймаю сегодня — завтра я его уроню. Я знал это точно. Как знал, что Самовар не простит тележку. Как знал, что не приду на второй путь.

Я всегда роняю.

— Яна, — сказал я. — Иди домой.

Она смотрела на меня. Сначала не поняла. Потом поняла. Лицо у неё дрогнуло, как у ребёнка, у которого отобрали конфету.

— Ты что, — сказала она. — Ты меня не хочешь?

— Хочу, — сказал я. — Поэтому и говорю: иди домой.

— Это из-за Ирмы? Из-за правила?

— Нет. Из-за меня.

— Что с тобой не так?

Я подумал. Как объяснить девятнадцатилетней девочке из Шахт, что со мной не так? Что я разбудил одну женщину и бросил её на перроне. Что другая женщина не открыла мне дверь, потому что я не научился оставаться. Что я сам себя боюсь больше, чем Арсена.

— Я тебя уроню, — сказал я. — Не сразу. Через месяц, через два. Ты влюбишься, а я уйду. Я всегда ухожу. Ты будешь плакать, толстеть, срывать контракты. Ирма тебя отправит обратно в Шахты. А твой отец так и будет сидеть у окна без немецкой коляски.

Яна смотрела на меня. Губы у неё дрожали.

— Ты что, ясновидящий? — сказала она.

— Нет. Я просто это уже делал.

Она постояла ещё секунду. Потом сунула мне в руки бутылку «Мартини».

— Выпей сам, — сказала Яна. — За своё благородство. Козёл.

И побежала вниз по лестнице. Каблуки стучали по ступенькам, как выстрелы. Хлопнула дверь подъезда.

Я стоял в дверях с бутылкой «Мартини». Сзади скрипнула половица.

Клавдия Ивановна стояла в коридоре в ночной рубашке и шерстяных носках, держа на руках Маршала. Она всё слышала.

— Вот, — сказала она. — Первый раз за год правильно поступил.

— Я у вас два месяца живу.

— Я не про здесь, — сказала Клавдия Ивановна. — Я по лицу вижу. У тебя лицо человека, который за последний год много неправильного наделал. А сейчас — правильно. Я в радистках была, я по голосу слышу, когда человек правду говорит.

Она посмотрела на бутылку в моих руках.

— Это что?

— «Мартини».

— Иностранная гадость, — сказала Клавдия Ивановна. — Давай сюда. Я на нём наливку сделаю. На вишне. К Новому году будет.

Она забрала бутылку и ушла к себе. Маршал смотрел на меня через её плечо единственным глазом. Мне показалось — с уважением.

Ирма вернулась из Милана через неделю. В первый же день вызвала меня в кабинет.

— Яна, — сказала она, не поднимая глаз от бумаг.

Я похолодел.

— Девочки рассказали, — сказала Ирма. — Ночью сбежала. Вернулась через час. Ревела до утра. На следующий день пошла на кастинг «Л'Ореаль» и взяла его. Сказала стилисту, что ей теперь всё равно, и это было видно в камеру. Им понравилось. «Злая рыжая». Контракт на год.

Она подняла глаза.

— Ты её выгнал.

— Отправил домой.

Ирма смотрела на меня долго. Прозрачными глазами.

— Девять лет, — сказала она. — Девять лет у меня работают мужчины. Водители, фотографы, букеры, стилисты. Девять лет каждый из них рано или поздно нарушал правило. Каждый. Я выгоняла. Набирала новых. Они опять нарушали.

Она потушила сигарету.

— Ты первый, — сказала Ирма. — Первый, кто отправил домой.

Я молчал.

— Почему? — спросила она.

— Потому что я бы её уронил, — сказал я.

Ирма кивнула медленно, как кивают, когда слышат то, что сами давно знали.

— Хорошо, что ты это знаешь про себя, — сказала она. — Плохо, что ты это знаешь про себя.

— Почему плохо?

— Потому что люди, которые знают, что уронят, — сказала Ирма, — никогда не учатся ловить. Они просто перестают брать в руки.

Она вернулась к бумагам.

— Иди, — сказала она. — В два кастинг в «Метелице». И скажи Яне, что если она ещё раз сбежит ночью, я её отправлю в Шахты. Сама.

Я вышел. В приёмной на диване сидела Яна. С папкой на коленях. Рыжая, злая, красивая. Посмотрела на меня, как на пустое место.

И я подумал, что это, наверное, первый раз в моей жизни, когда женщина смотрит на меня как на пустое место — и я этому рад.

Глава 4. Восьмое купе

В конце первой книги я обещал рассказать, что было в восьмом купе. Обещания надо выполнять. Хотя бы иногда.

Ничего не было.

То есть было — но не то, что вы подумали. И не то, о чём я сам думал, когда шёл по раскачивающемуся коридору поезда номер шесть с бешено колотящимся сердцем, мимо закрытых дверей, за которыми храпели, смеялись, ругались и пили.

Восьмое купе было двухместным. СВ. Ирма сидела у окна, в том же сером брючном костюме, только без пиджака. На столике — бутылка армянского коньяка, два стакана в подстаканниках, лимон, нарезанный кружочками, плитка шоколада «Вдохновение». За окном неслась ночь.

Она посмотрела на меня. Кивнула на диван напротив.

— Садись, беглец.

Я сел.

Она налила. Мы выпили. Коньяк был такой, какого я никогда не пил. Даже у Арсена на даче. Он не обжигал — он разливался внутри, как тёплый свет.

— «Ахтамар», — сказала Ирма. — Двадцатилетний. Мне подарил один армянин в Ростове. Хотел, чтобы я взяла его дочь в агентство. Дочь была красивая, но глупая. Я не взяла. Коньяк оставила. Это нечестно, наверное.

— Честно, — сказал я. — Он вам коньяк, вы ему правду. Это хороший обмен.

Ирма посмотрела на меня с интересом.

— Рынок? — спросила она.

— Четыре года.

— Видно. Ты всё меряешь обменом.

— А вы?

— А я всё меряю контрактом, — сказала Ирма. — Это одно и то же. Только с печатью.

Мы проговорили до Воронежа.

Не о себе. Это было странно, но правильно. Мы оба понимали, что если начнём о себе — придётся врать. Или говорить правду. Ни то, ни другое не годилось для двух незнакомых людей в ночном поезде.

Мы говорили о людях.

Она показывала на пассажиров в коридоре — через приоткрытую дверь купе — и спрашивала: «Этот?» А я говорил. Мужик в тренировочных штанах — едет к любовнице, жене сказал, что в командировку, боится, что она позвонит в контору. Бабушка с курицей в корзине — едет к сыну, которого не видела пять лет, везёт курицу, потому что сын в детстве любил куриный суп, а сын давно вегетарианец, но бабушке не скажет. Девушка в наушниках — сбежала из дома, отец пьёт, у неё в кармане шестьсот рублей и адрес подруги, которой, скорее всего, по этому адресу нет.

Ирма слушала. Иногда кивала. Иногда поправляла.

— Не к любовнице, — сказала она про мужика. — К сыну. От первого брака. Втайне от второй жены. Видишь, как он держит пакет? Там игрушка. Машинка. Любовнице машинки не возят.

Я посмотрел. Она была права.

Мне стало холодно. Впервые в жизни кто-то читал людей лучше меня.

— Где вы научились? — спросил я около двух ночи, когда бутылка опустела наполовину.

Ирма долго смотрела в окно. В стекле отражалось её лицо — бледное, с красной помадой, с платиновыми волосами.

— В Ростове, — сказала она. — Как и ты. Только не на рынке. В другом месте.

— Где?

— Это я тебе расскажу когда-нибудь, — сказала Ирма. — Или не расскажу. Это зависит от тебя.

— От меня?

— От того, задержишься ли ты, — сказала она. — Люди, которые умеют читать других, не задерживаются нигде. Ни в городах, ни у людей. Им становится скучно. Они всё видят наперёд. Они уходят раньше, чем станет больно. Ты такой. Я такая.

Она налила ещё.

— Поэтому я тебе предлагаю не работу, — сказала Ирма. — Я тебе предлагаю договор. Двух беглецов. Ты мне нужен, потому что я одна не вижу всего. Я тебе нужна, потому что ты не знаешь Москвы. Мы друг другу полезны. Никаких чувств. Никаких обязательств. Никакой постели.

— Никакой постели?

— Особенно постели, — сказала Ирма спокойно. — Ты красивый. Мне сорок. Я могла бы. Но потом мне пришлось бы тебя уволить. А ты мне нужен больше, чем одна ночь.

Она подняла стакан.

— За договор.

Я поднял свой. Мы чокнулись.

А потом она легла на свою полку, отвернулась к стене и уснула. Сразу, как выключили. Как засыпают люди, которые очень устали и давно никому не доверяют, но сейчас решили рискнуть.

Я сидел до утра. Смотрел на её спину. На платиновый затылок. На руку, свесившуюся с полки, — длинные пальцы, коротко остриженные ногти без лака.

И думал, что первый раз в жизни женщина сказала мне «нет» до того, как я успел спросить. И что это было почти как облегчение.

Вот и всё восьмое купе. Не то, что вы ждали. Простите.

В мае Ирма начала учить меня Москве.

Не специально. Не уроками. Просто брала с собой туда, куда никогда не взяла бы водителя. На ужин с заказчиками в «Пушкин». На показ в Гостином дворе. На вечеринку журнала «Офисьель» в особняке на Остоженке. И по дороге, в машине, говорила.

— Никогда не входи в комнату первым, — говорила Ирма. — Входи вторым. Первого рассматривают. Второго — замечают.

— В ресторане садись спиной к стене. Лицом к двери. Как бандиты. Это не паранойя. Это обзор.

— Не улыбайся сразу. Ты улыбаешься, как продавец на рынке. Это видно. В Москве улыбаются через три минуты. Когда уже заслужили.

— Пей одну рюмку весь вечер. Держи в руке. Подливай воду. Пьяный в Москве — мёртвый.

— Никогда не говори, сколько стоит. Ничего. Если спрашивают, сколько стоит твой пиджак, — улыбнись и скажи «подарок». Пусть думают.

— Молчи. Ты много говоришь. Ростовские все много говорят. В Москве молчание — это власть. Кто молчит, тот знает больше.

Я слушал. Запоминал. Пробовал.

На вечеринке «Офисьеля» я вошёл в зал вторым — за Ирмой. Сел спиной к стене. Не улыбался три минуты. Весь вечер держал в руке один бокал шампанского. Молчал.

Ко мне подошли семь человек. Трое спрашивали, кто я. Двое — откуда у меня пиджак. Один — не хочу ли я сниматься для их журнала. Одна женщина, жена владельца сети ювелирных магазинов, сунула мне в карман визитку и шепнула: «Позвоните. Мне нужен совет по… интерьеру».

— Видишь, — сказала Ирма в машине. — Ты весь вечер молчал. И стал самым интересным человеком в зале.

— Почему?

— Потому что Москва не верит словам, — сказала Ирма. — Москва верит паузам. Все вокруг говорят. Все продают себя. Кто молчит — тот не продаёт. Значит, у него и так всё есть. Значит, он дороже.

Она достала из моего кармана визитку жены ювелира. Прочитала. Порвала на четыре части и выбросила в окно.

— А это — не звони, — сказала она. — Её муж держит охрану из бывших спецназовцев. Они не разговаривают. Они ломают руки.

В июне она отвезла меня в бутик «Ле Монти» на Тверской. Сказала продавцу:

— Два костюма. Тёмно-серый и тёмно-синий. Белые рубашки. Три. Галстуки не надо, он их не умеет носить. Ботинки — оксфорды, чёрные. Ремень.

Продавец посмотрел на меня. На мой Тамарин пиджак.

— А этот? — спросил он. — Хорошая работа. Ручная. Кто шил?

— Один мастер из Ростова, — сказал я. — Точнее, два.

Ирма посмотрела на меня. Потом на пиджак.

— Этот оставь, — сказала она. — Этот не носи на работу. Носи для себя.

— Почему?

— Потому что в нём ты выглядишь как человек, которого кто-то любил, — сказала Ирма. — На работе так нельзя. Заказчики почувствуют. Начнут жалеть. А жалость в Москве — это скидка.

Костюмы стоили две тысячи долларов. Ирма заплатила со своей карточки. Сказала: «Вычту из зарплаты. По сто в месяц. Двадцать месяцев. Значит, будешь работать у меня минимум двадцать месяцев».

Я подумал, что это лучший контракт, который я когда-либо подписывал.

Вечером, когда я вёз её на Патриаршие, она вдруг сказала:

— Знаешь, почему я тебе тогда дала визитку? В тамбуре?

— Потому что я умею читать людей.

— Нет, — сказала Ирма. — Людей читать умеют многие. Цыганки на вокзале. Следователи. Продавцы на рынке. Это не редкость.

— Тогда почему?

Она посмотрела на меня.

— Ты морщил нос, — сказала она. — Когда смотрел на своё отражение в окне. Я видела. Человек, который морщит нос, глядя на себя, — врёт сам себе. И знает об этом. И ему стыдно.

Она отвернулась к окну.

— Я двадцать лет в Москве, — сказала Ирма. — Я встречала тысячи людей, которые умеют читать других. Ни одного, кому было бы стыдно. Ты первый. Стыд — это последнее, что отличает человека от хорошего продавца. Береги его. В этом городе его очень быстро теряют.

Я хотел ответить. Но мы уже подъехали к её дому. Она вышла, не прощаясь, как всегда. Пошла к подъезду, прямая, в чёрном пальто.

Я сидел в «Вольво» и смотрел на своё отражение в зеркале заднего вида.
Нос не морщил. Пока.

Глава 5. Свидетель

В июле я первый раз в жизни летел на самолёте.

Ирма дала мне неделю отпуска и билет до Еревана — сказала, что это подарок за Стаса, а на самом деле, я думаю, ей просто было интересно, вернусь ли я. Я сидел у иллюминатора в старом Ту-154 «Армавиа», вцепившись в подлокотники, и смотрел, как Москва уходит вниз, становится игрушечной, потом исчезает под облаками.

Рядом сидела армянская бабушка в чёрном платке. Увидела, как я побелел на взлёте, достала из сумки персик и сунула мне в руку.

— Кушай, — сказала она. — Когда кушаешь, не страшно. Самолёт падает только на голодных.

Я съел персик. Самолёт не упал.

Ереван встретил меня жарой, которой я не знал даже в Ростове. Сорок два градуса. Воздух дрожал над бетоном аэропорта «Звартноц», и сквозь это дрожание, на горизонте, висела огромная белая гора с двумя вершинами. Арарат. Он был так близко, что казалось — можно дойти пешком. И так далеко — за границей, в Турции, — что до него не дойдёт никто.

У выхода меня ждал Гоша.

Я его не сразу узнал.

Гоша похудел на десять килограммов. Загорел до цвета армянского коньяка. Отпустил усы — тонкие, как у Чарли Чаплина. На нём был белый льняной костюм, явно сшитый на заказ, и золотая цепочка на шее. Он стоял у выхода с табличкой, на которой было написано по-русски и по-армянски: «МАКС — СВИДЕТЕЛЬ — ЛУЧШИЙ ДРУГ — БРАТ».

Увидел меня — и бросил табличку. И побежал. Через весь зал прилёта, сбивая с ног пассажиров, носильщиков, таксистов. И повис у меня на шее, как в детстве.

— Макс! — кричал он мне в ухо. — Макс! Ты приехал! Ты приехал!

— Гоша, ты меня задушишь.

— Задушу! От счастья! Мне можно, я жених!

Он отстранился. Посмотрел на меня. На мой новый костюм из «Ле Монти». На стрижку. На часы.

— Ты другой, — сказал Гоша, и лицо у него на секунду стало серьёзным. — Московский.

— А ты армянский.

— Я армянский, — гордо сказал Гоша. — Я теперь Геворг. Меня тут все так зовут. Тёща сказала: «Гоша — это собачья кличка. Будешь Геворг». Я согласился. Ей нельзя не соглашаться. Она как Арсен, только в юбке.

Армянская свадьба длится три дня. Это я узнал на собственной печени.

Первый день — у невесты. Огромный дом на окраине Еревана, в районе Норк, с виноградником во дворе, с абрикосовыми деревьями, с длинными столами под навесом из виноградных листьев. Двести человек родственников. Тётя Сирануш в чёрном, которая смотрела на Гошу, как на свой последний неудачный эксперимент. Дядья, тётки, двоюродные, троюродные, крёстные, соседи, соседи соседей.

По традиции жених должен выкупить невесту. Гоша выкупал её четыре часа. Братья Анаит придумывали испытания: спеть песню на армянском (Гоша спел «Владимирский централ», заменив «централ» на «Ереван»), станцевать кочари (Гоша станцевал так, что один из дядей упал со стула от смеха), выпить рог вина за один раз (Гоша выпил два).

Потом братья спрятали туфлю невесты. По традиции свидетель должен её найти и выкупить. Свидетелем был я.

Я посмотрел на братьев. Три секунды. Самый младший, Вардан, лет шестнадцати, всё время косился на абрикосовое дерево у забора.

Я подошёл к дереву. Туфля висела на верхней ветке, завёрнутая в лаваш.

Свадьба взорвалась аплодисментами. Братья смотрели на меня с ужасом.

— Как? — спросил старший, Ашот.

— Рынок, — сказал я.

Вечером первого дня, когда гости уже пели хором под абрикосовыми деревьями, ко мне подошла бабушка Анаит. Маленькая, сухая, девяностолетняя, в чёрном платке, с палкой из виноградной лозы. Её все звали Мец-мама — большая мама. Она сидела весь вечер во главе стола и ничего не ела, только смотрела.

Она взяла меня за руку. Сухими, горячими пальцами. Посмотрела на шрам на ладони. Потом мне в лицо.

И что-то сказала по-армянски. Длинно, тихо, качая головой.

Я растерялся. Рядом оказался Вардан, младший брат Анаит, тот самый, который выдал туфлю взглядом на абрикос.

— Она говорит, — перевёл Вардан, смущаясь, — что у тебя рука человека, который держал чужую беду. А глаза — человека, который боится держать свою.

Мец-мама кивнула, как будто поняла, что он перевёл правильно. Сказала ещё что-то.

— Она говорит, — перевёл Вардан, — что в её деревне под Карсом, в пятнадцатом году, когда пришли турки, её отец вынес на руках шестерых чужих детей. Через горы. А своих двоих не успел. Он потом жил ещё шестьдесят лет. И каждый день говорил, что чужих спасти легко. Своих — страшно. Потому что если своих уронишь — себе не простишь.

Старуха отпустила мою руку. Погладила по щеке. Как ребёнка.

И сказала по-русски, с трудом, медленно, единственную фразу, которую, наверное, знала:

— Не бойся своих.

И ушла, стуча виноградной палкой по каменным плитам двора.

Позже, за полночь, когда Гоша спал за столом, положив голову на блюдо с долмой, а Анаит гладила его по волосам, я вышел за ворота. На улицу. Посидеть.

На лавочке у ворот сидел Рафик. В тёмных очках. Курил.

Я сел рядом. Он протянул мне сигарету. Я взял.

Мы сидели молча. Над Ереваном висела огромная луна. Где-то далеко, за городом, белел Арарат. Пахло абрикосами и дымом.

— Хорошая свадьба, — сказал я.

Рафик кивнул.

— У твоей сестры тоже такая была? — спросил я. — В Ростове? В платье Тамары?

Рафик долго молчал. Потом снял очки. Посмотрел на луну.

— Лучше, — сказал он. Своим высоким голосом. — Там все плакали. Здесь все смеются. Когда плачут — лучше. Значит, есть о чём.

Он надел очки.

Это была его третья фраза с той ночи на Ворошиловском мосту, когда он рассказал мне про брата. Я их считал. Как крестики на календаре.

Второй день — церковь. Древний храм из розового туфа, построенный, кажется, ещё до Рождества Христова. Внутри — полумрак, свечи, запах ладана, хор, от которого по спине бежали мурашки.

Анаит была в белом. Платье, которое — я узнал потом — шили в Краснодаре. В ателье «Фира и Тома». Тамара прислала его в подарок, вместе с запиской, которую Анаит мне пока-

зала: «Анаит-джан. Ты меня тогда в гостинице не выдала. Это моя благодарность. Будь счастлива. Т.».

Я стоял рядом с Гошей у алтаря и смотрел на это платье. На кружево, которое Фира вышивала своими старыми руками. По Тамариным выкройкам, нарисованным обожжёнными пальцами. И думал, что даже здесь, за тысячу километров от Ростова, в древнем армянском храме, меня догоняет то, что я оставил.

Священник накинул на руки жениха и невесты белую ленту. Что-то говорил на древнеармянском. Гоша не понимал ни слова, но кивал на каждую фразу с таким видом, будто сам это написал.

Потом Гоша посмотрел на Анаит. И я увидел, как у него дрогнули усы.

И подумал, что вот так выглядит человек, который умеет оставаться.

Арсен был посажёным отцом. Он стоял в первом ряду, в чёрном костюме, руки за спиной. Похудевший. Поседевший. Старше, чем полгода назад, на десять лет.

Мы встретились глазами в церкви. Он едва заметно кивнул. Я кивнул в ответ.

Рядом с ним стоял Рафик. В тёмных очках. Даже в церкви.

Тамары рядом не было.

Третий день — банкет. Ресторан на берегу Раздана, четыреста гостей, оркестр с дудуком, столы ломятся от еды: хоровац, долма, толма, лаваш, сыры, зелень, гранаты, абрикосы, коньяк. Тосты по армянской традиции — длинные, философские, со сложными метафорами. Тамада говорил каждый тост по десять минут и в конце каждого плакал.

Мой тост был седьмым. Я встал, подождал, пока стихнет шум. Подержал паузу — как учила Ирма. Три минуты. Не улыбаясь.

И сказал:

— У меня никогда не было брата. Мать ушла, отец сидел. Я думал, что я один. А потом в девять лет в соседний барак переехал толстый мальчик с маминым пирожком в газете «Комсомольская правда». Он отдал мне пирожок. Просто так. И с тех пор отдаёт мне всё. Куртку. Время. Свою кровь, когда надо. Он сел со мной в машину, в которой было опасно. Он позвонил в Ейск, когда меня убивали на мосту. У него на плече написано моё имя. А у меня — его.

Я закатал рукав. Показал всем «ГОША». По залу прошёл шёпот.

— Анаит, — сказал я. — Ты выходишь замуж за самого лучшего человека, которого я знаю. Он не умеет зарабатывать деньги. Не умеет танцевать. Не умеет врать. Зато он умеет любить. Так, как я никогда не научусь. Береги его. Он у меня один.

Я поднял рюмку.

В зале было тихо. Тётя Сирануш смотрела на меня. Потом на Гошу. Потом — впервые за три дня — улыбнулась. Маленькой, строгой, армянской улыбкой.

Гоша рыдал, уткнувшись в плечо Анаит. Анаит гладила его по голове и смотрела на меня мокрыми глазами.

Арсен в углу не пил. Смотрел на меня. Долго.

На рассвете четвёртого дня, когда гости разъехались, а Гоша с Анаит уехали в свадебное путешествие в Цахкадзор, Рафик отвёз нас с Арсеном на Севан.

Озеро лежало между гор, огромное, синее, неподвижное, как кусок упавшего неба. Над ним поднимался туман. На полуострове стоял древний монастырь из чёрного камня. Было холодно — две тысячи метров над морем. После сорокаградусной жары в Ереване это было как глоток ледяной воды.

Мы сидели на камне у воды. Арсен курил. Я смотрел на туман.

— Тома ушла в апреле, — сказал он. — Я отпустил. Как обещал.

— Я знаю. Фира писала Гоше.

— Она счастлива, — сказал Арсен. — Рафик ездил в Краснодар. Видел. Говорит — поёт. Ателье маленькое, на окраине. Клиенток много. Фира шьёт, она командует. По вечерам сидят вдвоём на крыльце, пьют чай.

Он помолчал.

— Двадцать лет я думал, что она без меня пропадёт, — сказал Арсен. — Что я её держу. Что я — её стены. А я был её тюрьмой. Надо было, чтобы пришёл пацан с рынка, чтобы я это понял.

Я молчал.

— Ты как в Москве? — спросил он.

— Хорошо. Работаю в модельном агентстве. Водителем. Скаутом немного.

— Каком агентстве?

— «Орбита». На Тверской.

Арсен затянулся. Выпустил дым.

— Чьё?

— Ирмы Вольской.

И Арсен замер.

Я видел много раз, как замирает Арсен. На льду, когда я смотрел ему в глаза. На мосту, когда приехал КамАЗ Самовара. В больничном коридоре.

Но так — никогда.

Он замер, как замирает человек, которого ударили в спину. Сигарета застыла на полпути ко рту. Глаза за тонкими очками стали другими — не холодными, не умными, не страшными. Растерянными. Как у мальчишки.

Он долго молчал. Туман над Севаном поднимался медленно, как занавес.

— Вольская, — сказал он наконец. Тихо. Как будто пробовал слово на вкус. — Значит, Вольская.

— Вы её знаете?

Арсен не ответил. Он смотрел на озеро. На монастырь из чёрного камня. На туман.

— Как она? — спросил он.

— Хорошо, — сказал я осторожно. — Агентство большое. Она… сильная. Одна. Курит много.

— Курит, — повторил Арсен. И что-то странное мелькнуло у него на лице. Почти улыбка. — Она в семнадцать лет начала. За гаражами. Я её поймал. Отобрал пачку. Она мне в лицо плюнула.

Он выбросил сигарету в озеро.

— Она тебе рассказывала про фотографию? — спросил он. — На перроне?

Сердце у меня остановилось.

— Рассказывала, — сказал я.

Арсен кивнул медленно.

— «Всё равно вернёшься», — сказал он. — Я написал. На обороте. Двадцать лет назад. Мне было двадцать шесть. Я был дурак. Думал, что если держать крепко — не убежит.

Он встал. Отряхнул брюки. Посмотрел на меня сверху вниз.

— Передай ей… — начал он. И остановился.

Туман над Севаном разошёлся. Показалось солнце. Монастырь из чёрного камня вспыхнул розовым.

— Нет, — сказал Арсен. — Ничего не передавай. Она не вернулась. Правильно сделала.

Он пошёл к машине. Рафик открыл ему дверь.

На полпути Арсен остановился и, не оборачиваясь, сказал:

— Макс. Ты понимаешь, что ты сделал?

— Что?

— Ты сбежал от меня к ней, — сказал Арсен. — Как она двадцать лет назад. Тем же поездом. Тем же путём.

Он сел в машину. Дверь закрылась.

Я остался сидеть на камне у озера. Смотрел, как туман уходит в горы. И думал, что жизнь — это действительно кольцо. Как Садовое. Как кольцевая метро.

Только я ещё не знал, насколько.

Глава 6. Скаут

Про Арсена и фотографию я Ирме не сказал.

Я вернулся из Еревана, загорелый, с тремя бутылками коньяка от тёти Сирануш и с этим знанием, которое жгло меня, как раскалённая монета в кармане. Каждый раз, когда я заходил к ней в кабинет и видел на стене девочку с картонным чемоданом на втором пути, монета жгла сильнее.

Но Арсен сказал — ничего не передавай. А Ирма сказала — расскажу когда-нибудь, или не расскажу, это зависит от тебя.

Я решил, что это не моя история. Что у двух людей, которые двадцать лет не видели друг друга, есть право на свою тишину.

Это было, наверное, первое по-настоящему взрослое решение в моей жизни. И, как многие взрослые решения, оно потом обернулось против меня.

В августе Ирма сказала:

— Хватит возить. Начинай искать.

Шоферить взяли нового — Петровича, отставного военного водителя, который ездил по Москве, как по полигону, и называл Ирму «товарищ директор». А мне Ирма дала задание.

— Мне нужны новые лица, — сказала она. — Не те, что приходят по объявлению. Те — все одинаковые. Насмотрелись журналов, знают, как стоять, как улыбаться. Мне нужны те, кто не знает. Кто даже не думает, что может. Они где-то здесь. В метро. На рынках. В кафе. В очередях в сберкассу. Найди.

— Как?

— Так же, как нашёл Стаса, — сказала Ирма. — Смотри. Только не на то, что они скрывают. А на то, чего они сами в себе не видят.

Первую неделю я провёл в метро.

Катался по кольцевой с утра до вечера. Как в первый день в Москве, только теперь не потому, что заблудился, а потому, что искал. Смотрел на лица. Тысячи лиц. Студентки, продавщицы, школьницы, медсёстры, официантки. Красивых было много. Очень много. Москва вообще полна красивых девушек. Но красивые — это не то.

Ирма объяснила мне разницу ещё в первый месяц.

— Красивая — это когда на неё приятно смотреть, — говорила она. — Модель — это когда невозможно не смотреть. Это не про лицо. Это про то, что под лицом. Про то, как она держит голову, когда устала. Как смотрит, когда думает, что никто не видит. Про то, что камера ловит, а глаз пропускает.

За неделю я подошёл к шести девушкам. Трое испугались и убежали. Одна вызвала милицию. Одна оказалась замужем за ревнивым сантехником, который сломал мне палец на правой руке — к счастью, мизинец. Одна взяла визитку, пришла в агентство, Ирма посмотрела на неё три секунды и сказала: «Нет. Красивая. Не модель».

— Плохо, — сказала она мне вечером. — Ты ищешь глазами. Ищи по-другому.

— Как?

— Ищи так, как ищешь тех, кто врёт, — сказала Ирма. — Ты же их не видишь глазами. Ты их чувствуешь.

Дашу я нашёл на Черкизовском рынке.

Черкизон в двухтысячном первом году был не рынком. Это было государство. Двести гектаров контейнеров, лотков, палаток и складов, в которых торговали всем, что можно про-

дать, и многим, что продавать нельзя. Вьетнамцы, китайцы, турки, азербайджанцы, таджики, украинцы, молдаване, русские. Своя милиция, своя валюта, свои законы. Когда я первый раз прошёл через его ворота, у меня защемило сердце. Это был мой мир. Только размером с город.

Я пошёл туда не за моделями. Пошёл просто так. Потому что соскучился по рынку. Купил чебурек у азербайджанца. Поторговался с вьетнамцем за джинсы — не потому что нужны были, а чтобы вспомнить. Поговорил с бабкой, торговавшей мёдом, — она оказалась из Ростовской области, из Миллерово, и мы полчаса вспоминали, где на Центральном рынке лучшая тарань.

А потом я увидел Дашу.

Она торговала платками. Павловопосадскими, с розами и цветами, в контейнере номер четыре тысячи двести одиннадцать, в ряду, где торговали в основном тульские и ивановские. Рядом сидела её тётка — толстая, громкая, в мохеровой кофте, которая торговалась с покупательницами так, что те уходили в слезах, но с платком.

Даше было восемнадцать. Она сидела на перевёрнутом ящике в углу контейнера, в старой куртке, без косметики, с волосами, собранными в небрежный хвост. И читала книгу. «Мастера и Маргариту». Затрёпанную, библиотечную.

Она была некрасивая.

Это первое, что я подумал. Худая до угловатости, с острыми скулами, с большим ртом, с бровями, которые срослись на переносице. Высокая — даже сидя было видно. Длинные руки. Длинная шея. Если бы она шла мне навстречу по улице, я бы не обернулся.

Но она читала. И когда дочитала страницу и подняла голову — посмотреть на покупательницу, которую тётка доводила до слёз, — у неё было такое лицо, что я забыл, как дышать.

Это было лицо человека, который только что был где-то очень далеко. В Иерусалиме, в Москве тридцатых, на балу у Воланда. И вернулся. И ему жалко, что вернулся. И он смотрит на этот контейнер, на эти платки, на эту тётку — с такой тоской, с такой нежностью, с таким пониманием, что у меня перехватило горло.

Это длилось две секунды. Потом она снова уткнулась в книгу.

Но я успел.

— Платок нужен? — спросила тётка, увидев, что я стою у контейнера.

— Нужен, — сказал я. — Самый красивый. Вон тот, с бордовыми розами.

Тётка развернула платок. Назвала цену в три раза выше нормальной. Я не торговался. Тётка посмотрела на меня с подозрением — на Черкизоне никто не платил, не торгуясь.

— Подарок? — спросила она.

— Не совсем, — сказал я. И повернулся к Даше. — Можно вас попросить?

Даша подняла голову. Посмотрела на меня. Без интереса. Как на очередного покупателя.

— Что?

— Накиньте его. На плечи. Я хочу посмотреть, как он смотрится.

Даша посмотрела на тётку. Тётка пожала плечами — покупатель всегда прав. Даша встала. Она действительно была высокая — метр восемьдесят, не меньше. Взяла платок. Накинула на плечи. Небрежно, не глядя.

И я увидел.

Угловатая, некрасивая девочка с Черкизона превратилась в боярыню с картины Сурикова. В царевну из сказки. В женщину, которой поклоняются. Она стояла в грязном контейнере, в старой куртке, с платком на плечах — и от неё невозможно было отвести глаз.

Она сама этого не видела. Не знала. Не подозревала.

— Ну? — сказала она нетерпеливо. — Берёте?

— Беру, — сказал я. — И платок. И вас.

Тётка схватила со стола ножницы для ткани.

Убедить тётку было труднее, чем Самовара. Труднее, чем Арсена на льду. Тётку звали Зинаида Фёдоровна, она торговала на Черкизоне восемь лет, видела всех сутенёров, вербовщиков и «агентов» Москвы и была уверена, что я — один из них.

Я дал ей визитку «Орбиты». Она порвала. Я дал вторую. Она порвала. Я сказал, что могу позвонить хозяйке агентства. Она сказала, что знает, какие у таких, как я, «хозяйки».

Тогда я сделал то, что сделал бы на ростовском рынке. Купил у неё ещё десять платков. По полной цене. Без торга.

Зинаида Фёдоровна замолчала. Посмотрела на деньги. На меня.

— Ты кто такой? — спросила она.

— Я с Центрального рынка в Ростове, — сказал я. — Четыре года тележку катал. Тётю Галю из рыбного ряда знаете? Нет? Жалко. Она бы за меня поручилась.

Тётка смотрела на меня долго. Потом спросила:

— Почём там тарань?

— Сорок рублей за кило. Если у тёти Гали — тридцать пять, она своим скидывает.

Зинаида Фёдоровна медленно положила ножницы на стол.

— Поедем вместе, — сказала она. — Я посмотрю на твою хозяйку. Если она мне не понравится — я её этими ножницами.

Ирма Зинаиде Фёдоровне понравилась.

Не сразу. Сначала они двадцать минут смотрели друг на друга через стеклянный стол, как два боксёра перед боем. Ирма курила. Зинаида Фёдоровна сидела с сумкой на коленях, в которой — я знал — лежали ножницы. Даша стояла у окна и смотрела на Тверскую, как на балу у Воланда.

Потом Ирма встала. Подошла к Даше. Посмотрела на неё. Три секунды. Пять. Десять.

Потом развязала ей хвост. Волосы упали на плечи — тёмные, тяжёлые, прямые.

Потом повернулась ко мне.

— Где ты её взял? — спросила она тихо.

— На Черкизоне. Контейнер четыре тысячи двести одиннадцать.

Ирма смотрела на меня. И я впервые увидел в её прозрачных глазах удивление.

— Я двадцать лет в этом бизнесе, — сказала она. — Я видела, может быть, пять таких. Пять. За двадцать лет. Она — шестая.

Она повернулась к Зинаиде Фёдоровне.

— Квартира агентства на Соколе. Проверка лично мной раз в неделю. Никаких «встреч» с клиентами. Никакой ночной жизни. Учёба — английский и итальянский, за мой счёт. Вы — можете приходить когда угодно и проверять. С ножницами.

Зинаида Фёдоровна посмотрела на Ирму. На Дашу. На меня.

— А платки? — спросила она.

— Какие платки?

— Он у меня одиннадцать платков купил, — сказала тётка. — По полной цене. Куда он их денет?

Ирма посмотрела на меня. Я пожал плечами.

— Раздам, — сказал я. — Девочкам из агентства. Клавдии Ивановне. Маршалу на подстилку.

Ирма засмеялась. Хрипло, коротко. Второй раз за полгода.

Через четыре месяца Даша открыла показ «Прада» в Милане.

Я не был в Милане. Я смотрел по телевизору, в квартире Клавдии Ивановны, на кухне, по Fashion TV, который она называла «каналом для худых». Даша вышла на подиум первой — в чёрном пальто, с распущенными тёмными волосами, со сросшимися бровями, с большим ртом. Некрасивая. Невозможная. Шла так, будто только что вернулась с бала у Воланда и ей жалко, что вернулась.

В зале было тихо. Потом кто-то из первого ряда — я узнал потом, главный редактор итальянского «Вога» — встал.

Клавдия Ивановна смотрела на экран поверх очков. Маршал на подоконнике смотрел единственным глазом.

— Это твоя? — спросила Клавдия Ивановна.

— Моя, — сказал я. — С Черкизона. Платками торговала.

Клавдия Ивановна долго смотрела. Потом сказала:

— Похожа на мою сестру. Таню. Она погибла под Ржевом в сорок втором. Санинструктором была. Тоже некрасивая. Тоже не отвести глаз.

Она сняла очки и вытерла их краем фартука.

— Хорошее у тебя ремесло, Максим, — сказала она. — Ты видишь в людях то, чего они сами не видят. Это редкость. Только смотри — не начни видеть в них только товар. У нас в разведке тоже были такие. Хорошие специалисты. Видели всё. А потом переставали видеть людей.

Я кивнул.

Между Черкизоном и Миланом были четыре месяца. И эти четыре месяца я помню лучше, чем сам Милан.

Дашу надо было научить ходить.

Это звучит смешно. Восемнадцатилетняя девушка, которая всю жизнь ходила — по тульским улицам, по Черкизону, по контейнерным рядам. Но ходить по подиуму — это другое. Ирма сказала это в первый же день, когда Даша прошла по коридору агентства от двери до окна.

— Ты ходишь, как будто несёшь мешок с картошкой, — сказала Ирма. — Плечи вперёд. Голова вниз. Шаг короткий. Так ходят люди, которые всё время ждут, что их ударят.

Даша покраснела. Сросшиеся брови сошлись ещё ближе.

— Меня и били, — сказала она тихо. — Отчим. Пока тётка не забрала.

Ирма посмотрела на неё. Долго. Потом подошла. Положила ладонь ей между лопатками. Надавила.

— Выпрямись, — сказала Ирма. — Здесь никто не ударит. Здесь — смотрят. Это другое. Когда смотрят — надо, чтобы видели. Всю.

Каждый вечер, когда агентство пустело, Даша ходила по коридору. С книгой на голове — старым томом Большой советской энциклопедии, буква «Ж». Ирма сказала, что буква «Ж» самая тяжёлая, потому что там «Жуков», «железная дорога» и «жилищное строительство».

Ирма сидела в конце коридора и курила. Я сидел рядом. Иногда Ирма уходила — у неё были встречи, звонки, Милан, Токио. Тогда оставался я.

Я не умел учить ходить по подиуму. Я вообще мало чего умел, кроме как смотреть. Поэтому я смотрел. И говорил Даше, что вижу.

— Ты на третьем шаге думаешь о том, что упадёт книга, — говорил я. — Видно по плечам. Не думай о книге. Думай о чём-нибудь другом.

— О чём?

— О чём ты думала на Черкизоне, когда читала? Когда подняла глаза. Я тогда тебя и увидел. Ты была где-то далеко.

Даша остановилась. Книга на голове качнулась.

— В Ершалаиме, — сказала она. — На балконе у Пилата. Там жарко было. И пахло розовым маслом.

— Вот туда и иди, — сказал я.

Она пошла. С книгой на голове. По коридору агентства на Тверской. В Ершалаим.

Книга не упала ни разу.

Зинаида Фёдоровна приходила проверять. Каждую пятницу. С сумкой на коленях. Сидела в приёмной на кожаном диване, рядом с моделями, — толстая, громкая, в мохеровой кофте. Девочки на неё косились. Люся закатывала глаза.

А Зинаида Фёдоровна смотрела. На всех. На Ирму, на меня, на Геру с кофейной чашкой, на Палыча под лестницей. Как таможенник. Как Фира Марковна в ателье.

В четвёртую пятницу она подошла ко мне. Отвела в угол. Достала из сумки — я напрягся, думал, ножницы — банку солёных огурцов.

— Тебе, — сказала она. — Сама солила. С хреном.

— За что?

Зинаида Фёдоровна посмотрела на Дашу, которая шла по коридору с энциклопедией на голове.

— Она улыбаться начала, — сказала тётка. — Дома. По вечерам. Я её восемь лет растила, ни разу не видела, чтоб улыбалась. А тут — сидит на кровати, книжку читает, и улыбается. Я спрашиваю — ты чего? Она говорит — тётя, меня здесь видят.

Зинаида Фёдоровна шмыгнула носом.

— Огурцы съешь, — сказала она сердито. — А то худой.

Перед отъездом в Милан Ирма устроила Даше экзамен. Позвала Геру с его старой камерой. Позвала двух японских заказчиков. Позвала главного редактора русского «Офисьеля».

Даша вышла из-за ширмы в чёрном платье, которое Ирма купила на свои деньги. Без книги. Прошла от двери до окна. Развернулась. Вернулась.

В комнате было тихо.

Гера поднял камеру. Щёлкнул. Опустил. Посмотрел на Ирму.

— Где вы её взяли? — спросил он хрипло.

Ирма кивнула на меня.

— Он нашёл, — сказала она. — На рынке. Платками торговала.

Гера посмотрел на меня. Долго, внимательно, через объектив.

— У тебя хорошие глаза, — сказал он. — Ты видишь то, что под кожей. Я сорок лет так умею. Но я — через стекло. А ты — без.

Потом он налил себе коньяку в кофейную чашку. В тот вечер Ирма ему ничего не сказала.

На следующий день Ирма вызвала меня в кабинет. Положила на стол бумагу.

— Новый контракт, — сказала она. — Главный скаут «Орбиты». Тысяча долларов в месяц. Плюс пять процентов от контрактов каждой девочки, которую ты нашёл. Пожизненно. Пока она в агентстве.

Я посмотрел на бумагу. На цифры. Пять процентов от контракта Даши с «Прадой» — это было больше, чем я заработал за четыре года на ростовском рынке.

— Ирма, — сказал я. — Это слишком много.

— Это не много, — сказала Ирма. — Это справедливо. Ты нашёл мне шестую за двадцать лет. Подписывай.

Я подписал.

И, выходя из кабинета, впервые подумал о себе как о человеке, у которого есть деньги. Это была очень приятная мысль.

И очень опасная. Как и все приятные мысли, которые я думал в Москве.

Глава 7. Утро ужаса № 4

На этот раз меня разбудил не громкоговоритель, не жжение татуировки и не берёзовый веник. Меня разбудило золото.

Точнее, его вес. Что-то тяжёлое и непривычное на безымянном пальце левой руки. Я шевельнул пальцами во сне, почувствовал металл, и мозг, ещё не проснувшись, выдал сигнал тревоги такой силы, что я сел в кровати раньше, чем открыл глаза.

Потом открыл.

На безымянном пальце левой руки у меня было обручальное кольцо. Гладкое, широкое, жёлтое. Явно новое — ещё блестело. Явно не моё — я никогда в жизни не носил колец.

Я смотрел на это кольцо очень долго. Ждал, что оно исчезнет, как исчезают кошмары. Оно не исчезало.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.